

Скрипка

Нас собралось довольно большое общество — всё люди «модного света» — у экс-курьера Раватяна, чтобы отпраздновать освящение его новой квартиры, отпраздновать едой и питьем, музыкой и танцами, а также христианской молитвой согласно обрядам святой лютеранской веры, для чего прибыло и весьма почтенное духовное лицо. Правда, Раватяна хотел пригласить также служителя православной, или апостольской церкви, чтобы и тот благословил его новое жилище по обрядам своего вероисповедания (дело в том, что Раватяна, прожив долгое время в России, привык почитать окропление святой водой, дающее известное ощущение законченности), но супруга его сочла это излишним, решила, что хватит молитв и псалмов одного священнослужителя для того, чтобы вполне светским образом отметить вступление в частную жизнь после важной государственной службы, поэтому читал молитвы и пел только посланец благословленной лютеранской церкви, а святой водой не брызгал. Но, говорят, Раватяна еще и позже, сидя где-то в кафе-варьете, высказывал сожаление, что ему тогда пришлось уступить жене в вопросе приглашения духовных лиц: по его мнению, нельзя себе представить более возвышенного момента, чем если бы через все комнаты прошествовали гости во главе с пастырем, который кропил бы освященной водой роскошные ковры, старинную мебель и фарфор, тяжелое серебро, знаменитые картины и всякие изысканные безделки, валявшиеся в огромном количестве в подходящих и неподходящих местах просторного дома. По моему мнению — а его, наверное, разделяют и многие другие гости, бывшие в тот вечер, — сожаления Раватяна совершенно безосновательны: ведь он, как хозяин торжества,



своим радушием вполне компенсировал отсутствие православного священника. Он не только водил нас для собственного и нашего удовольствия, по своим великолепным покоям, но и приглашал полюбоваться каждым креслом, каждым ковром, картиной или вазой, просил всех своими руками пощупать вещь, оценить ее удивительную мягкость, легкость, тяжесть или еще какое-нибудь свойство, которое позволяло догадываться, почему все эти предметы стоили таких огромных денег. Каждая вещь была по-своему оригинальна, имела свою историю, свой мир традиций, о чем гостеприимный хозяин рассказывал без устали, снова и снова повторяя свои объяснения, если это требовалось. При этом звучали громкие и славные исторические имена, потому что любая мельчайшая вещица оказывалась якобы связанной с каким-нибудь великим событием или личностью. Сам Раватянов, например, пользовался за столом только такими приборами и посудой, которых касались лица, состоявшие в кровном родстве с Романовыми, — так выяснилось из его любезных пояснений за ужином. Но и своих гостей он сегодня удостоил чести пользоваться утварью знатного происхождения. Мне попалась тарелка, с которой однажды преподобный Распутин в присутствии царя ел при помощи своей естественной вилки печенье. Услышав это поразительное сообщение, я невольно уставился глазами в тарелку, словно ища там подтверждения сказанному. Смотрел я так долго и упорно, что это заметили не только мои соседи по столу, но и сам хозяин, и это вызвало у него следующий насмешливый вопрос:

— Вы, господин студиозус, видно, ищете на тарелке следы от пальцев батюшки Распутина, что так пристально смотрите?

Шутка хозяина показалась удачной, раздался общий смех, и все взгляды обратились ко мне, словно в ожидании моего ответа.

Но я не нашелся, что ответить, не нашелся впервые после того, как получил корпорантскую ленту, а ведь она, кроме всего прочего, должна служить и свидетельством красноречия! Обычно я бывал очень на-



ходчив, и моим остроумием восхищались не только «фуксы» — первокурсники и молодые девицы, у которых я обычно имел большой успех. Пусть бы я рассмеялся вместе с другими, тогда не произвел бы на них такого жалкого впечатления, как теперь: не находя нужного ответа, я продолжал таращиться на свою знаменитую тарелку, точно стеснялся поднять глаза в этом блестящем обществе.

Позже, задним числом, я вынужден был признать, что в тот вечер мне и правда было не по себе, отсюда и моя растерянность и смущение, не позволившие найти ответ. Я чувствовал себя ничтожным среди окружавшей меня роскоши, особенно когда услышал, что не только хозяин торжества увлекается ценностями историческими вещами, но что почти у всех гостей тоже имеется с собой или хранится дома какая-нибудь редкостная вещь или вещица, свидетельствующая о том, что они действительно сопереживали великому историческому моменту. Я единственный принадлежал к тем пасынкам судьбы, которые не сопричастны истории, поэтому и не творят историю, и ничего ей не дают. Мною вдруг овладело такое чувство, будто жизнь моя напрасна, будто я не смогу совершить ничего более значительного, чем недавнее получение корпорантских знаков. Этим ощущением собственного ничтожества и мизерности, по-видимому, и было вызвано все, что случилось со мной в тот вечер, иначе я не мог бы найти никакого объяснения произшедшему.

После моего светского конфуза я начал с того, что выпил немного больше, чем предполагал. Само по себе это значения не имело, сегодня все, как видно, выпили чуть больше, чем предполагали. Я сужу, между прочим, по тому, что и женщины стали все оживленнее рассказывать о своих исторических вещицах и украшениях и даже демонстрировать их в таких местах, куда заглядывать считалось бы при других обстоятельствах недопустимым в приличном обществе. Если кто-нибудь в шутливом тоне указывал на это, раздавался только смех и тотчас же находились дамы, которые с лукавым видом приглашали своих любопытных или недоверчивых соседей в дру-



гую комнату, чтобы там наконец доказать существование каких-нибудь таинственных монограмм или корон, а затем с торжествующей улыбкой снова занять свое место за столом.

Атмосфера праздника была насыщена какими-то загадочными пьянящими флюидами, которые исходили от окружающих предметов и вливались в людей, облагораживая их и одухотворяя. В словах и движениях, во взглядах и улыбках раскрывались самые интимные черты их сущности. Многие делались приятными, по-домашнему милыми, какими бывают только среди близких. Я тоже начал осваиваться, забыв о своей недавней пустячной неудаче. Но язык у меня никак не развязывался настолько, чтобы я мог участвовать в веселой беседе: замечания, которые я время от времени вставлял, не вызывали почти никакого интереса — такими пустыми казались мои слова по сравнению с тем, что говорили другие. Однако я не стал из-за этого портить себе настроение, а поразмыслив, в конце концов счел за лучшее больше не раскрывать рта, разве только для того, чтобы отведать изысканных кушаний и напитков или отозваться на чьи-либо слова одобрительным смехом.

Позже, когда речь зашла о гипнозе и внушении, меня так и подмывало вступить в разговор, но это искушение вскоре исчезло, потому что и в этих вопросах затрагивались такие стороны, которые вынуждали меня молчать. Я до сих пор считал, что гипноз и внушение мыслимы только между живыми существами, но сегодня вечером это понятие приобрело гораздо более широкие границы. Кажется, именно наш любезный хозяин сам поднял вопрос: возможно ли, чтобы живые воздействовали гипнозом или внушением и на неживое, или наоборот — чтобы неодушевленные предметы гипнотизировали или что-то внушали живым людям?

Особенно интересовала собравшихся вторая часть вопроса, это можно было заключить по количеству гостей, принимавших участие в разговоре. Приводились примеры из жизни диких племен, утверждали, будто какое-нибудь украшение или кусок ткани мо-



жет заставить даже людоеда стоять, двигаться и действовать по-другому. А то, что возможно в прimitивных условиях и обстоятельствах, разве не может в гораздо большей мере проявляться на более высоком культурном уровне, хотя бы, например, в нашем современном обществе? Отмечалось, что, действительно, и в самой культурной среде человек явно меняется в своей сущности соответственно тому, как меняется его одежда, украшения. Даже деревенский мужлан на паркете ступает совсем иначе, чем в поле или в хлеву, не говоря уж о людях более развитых. А раз дело обстоит так, как это подтверждают указанные жизненные примеры, то не будет слишком смелым и такой вывод: хочешь просветить и развить человека, поднять на более высокий уровень и привлечь к культуре, — позаботься о вещах, позавлиять на него облагораживающее, делать его глубже, тональше. Ведь не все равно, что ты ешь — картошку или каштаны, антоновку или апельсины, — точно так же не безразлично, пользуешься ты за столом глиняной тарелкой или фарфором и тяжелым старинным серебром, ибо в противном случае было бы непонятно, к чему эти национальные и псевдонациональные музеи.

— Вещь сама по себе может быть просто хлам, часто она и есть хлам, — говорил господин Раватянов при общем почтительном молчании. — Но дух, душа, иными словами — история, прошлое, традиции, воспоминания, связанные с вещью, — это-то и дорого, это ценность, ибо она передается от человека к человеку. Другие учатся, идут в университет, слушают профессоров, а мне это ни к чему, потому что у меня есть вещи, а в них — все библиотеки и все профессора! Больше того: когда я сижу среди своих вещей, вокруг меня — знатность, благородство, которых не сыщешь в библиотеке, а я к ним все-таки причастен. Еще недавно был я коренного крестьянского рода, а ныне я родовитый помещик — фон, барон, граф, князь, без малого король или император, — таким сделала меня душа моих вещей!

Наш хозяин дошел до восторженного пафоса, а



восторг, как я замечал, — всегда известное преувеличение. Но сегодня мне показалось, что мои наблюдения ошибочны: не только экс-курьер Раватянов, но и все остальные, те, кто с трезвой деловитостью рассуждали о гипнозе и внушении, передающему живым через неживое, действительно говорили и держали себя так, словно вдруг достигли какого-то высшего ранга. Яснее всего это отражалось в поведении нескольких властных имущих, которые милостиво пожаловали к своему бывшему посыльному на освящение дома, а сейчас слушали высказывания хозяина и его гостей, точно евангелие. Должен признаться откровенно: мне стало жутковато среди этих вещей, которые изливают на человека столь облагораживающий дух. Немножко успокоился я лишь тогда, когда припомнил, что и сам пережил нечто подобное, и только теперь понял, до чего таинственна жизнь в своих глубинах. Ведь со мною, когда я получил корпорантские знаки, произошло примерно то же, что и с Раватяновом среди его сокровищ: я сразу поднялся в собственном мнении и в глазах других на гораздо более высокую ступень, однако в тот момент не сумел бы дать естественное объяснение этому факту. Оно открылось мне только сейчас, когда я слушал господина Раватянова, говорившего об истории вещей, о традициях, о прошлом — обо всем, что определяет живую душу вещей, их суггестивность. И правда — чем какой-нибудь старый ковер лучше моих новых корпорантских знаков? Разве у него более древняя душа, чем у них?

Я повеселел — сам не знаю почему, забыл о недавней неудаче, и даже вино сразу показалось сладким. Теперь я тоже имел нечто такое, что могло по праву сравняться с обладающими силой внушения историческими предметами; впрочем, здесь нечего было ждать ни серьезного интереса к этому, ни понимания. Если раньше мне приходилось прилагать некоторое усилие, чтобы молчать и слушать других, то теперь я делал это со своеобразным чувством превосходства, чуть ли не с иронической усмешкой на губах. Так продолжалось довольно долго: гости рассказывали друг другу историю своих вещей, вспоминали,



какие версии или предположения слышали об их прошлом, упивались собственными и чужими словами, а я смаковал тонкие вина и молчал.

— Господин студент, вас, наверно, не интересуют редкие вещи? — обратилась вдруг ко мне женщина, сидевшая от меня слева и до этого уделявшая особенное внимание лысому господину лет тридцати пяти—сорока, ее соседу с другой стороны.

Как ни странно, я уже не помню лица этого господина и едва ли узнал бы его, встретив на улице или еще где-либо. Такой провал в памяти тем более удивителен, что у меня есть достаточно оснований помнить именно это лицо, даже если бы все остальные лица, мелькавшие в тот вечер, совершенно забылись. Но ничего не поделаешь, — знаю только, что этот господин был лыс, что он очень часто поднимал бокал вместе с Раватяновом и громко обменивался с ним репликами, так громко и так часто, что в конце концов стал совсем забывать о своей хрупкой соседке справа: это ведь не была какая-либо диковинная вещь, таящая в себе суггестивную силу и душу. В один из таких моментов дама и оказала мне честь своим вопросом.

— Очень интересуют, — ответил я. — Слушаю с большим вниманием.

— А музыкой вы тоже интересуетесь? — спросила дама.

— В молодости помешан был на музыке, — ответил я.

— В молодости! — повторила дама и звонко расхохоталась, чем привлекла к нам общее внимание. Затем она громко пояснила: — Господин студент говорит, что в молодости был помешан на музыке. Слышите — в молодости!

Это вызвало смех, который, точно степной пожар, захватил всех, начиная с хозяина, и не пощадил даже высокопоставленных лиц. Я хотел что-то сказать в свою защиту, но Раватянов опередил меня:

— Наука и искусство нашли друг друга! Я люблю искусство больше, чем науку, кто меня поддержит?

Оказалось, что все любят искусство больше, чем



науку, тут поднялся страшный шум и гам, и хозяин торжества при общем одобрении произнес:

— Лизетта, ты видишь и слышишь: мы все просим, ждем.

— Прейли Мардус, просим, просим! — наперебой кричали гости.

Моя соседка залилась румянцем, и я впервые отметил про себя, как несправедлив был лысый господин, который так часто пил с Раватяном и обменивался замечаниями. Я на его месте действовал бы иначе, уж я-то — безусловно.

— Почему вы ничего не говорите? — спросила меня дама в эту минуту, и я понял, что поступал точно так же, как лысый, которого я только что осуждал. Но прежде чем я успел ответить, все с шумом поднялись из-за стола и нестройной гурьбой поспешили в зал. Здесь моя соседка открыла футляр скрипки и приблизилась к роялю, где другая дама перебирала ноты, готовясь аккомпанировать.

— Обратите внимание, студиозус, — шепнул мне Раватянов, — эта штуковина стоит миллионы, десять миллионов. Сама играет, почти что сама играет — вот какой инструмент!

Любезный хозяин хотел еще что-то добавить, но так как зазвучала интродукция, он громко произнес «тс-с-с!» и умолк. В почтительном молчании замерли и остальные, весь зал. Относилось ли это к музыкантше или к ее прославленной скрипке, этого я и сейчас не решусь сказать: мое душевное и физическое состояние в тот вечер не позволяло мне оценить ни игру скрипачки, ни ее инструмент, к тому же моей слабостью всегда был духовой оркестр. Знаю только, что все выражали бурный восторг, который захватил и меня, знаю, что музыкантшу просили играть еще и еще, и я тоже просил, не смей отстать от других в любви к музыке.

Когда выступление закончилось и все поспешили к прейли Мардус, чтобы выразить свое восхищение ее игрой и ее скрипкой, я тоже подошел, но мне не удалось сказать зардевшейся от волнения артистке ни единого слова: как-то случилось так, что дамы и господа, образовав полукруг в несколько рядов, от-



теснили меня от нее. В конце концов я ограничился тем, что, подойдя к роялю, стал перелистывать лежавшие здесь ноты, чтобы хоть таким образом пока-зать свой интерес к музыке.

Мои нервы были напряжены, я словно ждал чего-то, хотя ни малейшего серьезного основания к этому не мог бы привести. Когда прейли Мардус вдруг появилась рядом со мной, чтобы уложить скрипку в футляр, я инстинктивно почувствовал, что ждал ее.

— Прейли, какая вы счастливая, — сказал я, лишь бы что-нибудь сказать.

— Почему? — спросила девушка.

— То есть, я счастливый, — ответил я.

— Кто же из нас, в конце концов, счастлив? — рассмеялась девушка, хотя я совсем не пытался шутить. — Я или вы, или мы оба?

— Я, — ответил я.

— Я тоже так думаю, — согласилась девушка.

— Если осмелюсь спросить, разве вы не счастливый человек? Вы так много можете дать людям.

— Дать людям? — переспросила девушка.

— Вы ведь играете, — пояснил я.

— Играю... Для кого? Для них, — ответила она, глядя на удаляющихся из зала дам и мужчин. — Они ведь совершенно не понимают серьезной музыки.

— Неужели это возможно! — воскликнул я с удивлением. — Они же были в безграничном восторге.

— Почему вы такой? — спросила вдруг прейли Мардус и добавила: — Почему в жизни так много разочарований, так много несбытий надежд?

Об этом я ничего не мог сказать, так как у меня до сих пор не случалось ни одного разочарования.

— Конечно, откуда вы можете это знать, — произнесла девушка, сделала вдруг резкое движение, посмотрела в окно, на освещенную электричеством улицу, и сказала печально — я почувствовал, что печально:

— Я надеялась, что вы другой, совсем другой.

— Я мог бы стать другим, если бы знал, каким именно, — ответил я с готовностью.

— Неужели женщина должна определять характер мужчины? — спросила девушка.



— Прошу вас об этом, уважаемая преили! — Я почтительно щелкнул каблуками. — Мой характер всегда формировали женщины, и я никогда об этом не жалел.

— Вы большой льстец, — заметила девушка.

— Нет, я говорю вполне серьезно, — заявил я.

— Все мужчины уверяют, что говорят серьезно, но это только слова.

— Я не такой, как другие, поверьте, даю честное слово.

Приблизительно таким запомнился мне наш разговор, когда мы стояли около рояля, девушка держала в руках скрипку и время от времени грустный аккорд эхом отзывался в зале. Наверное, в голосе, движениях, выражении лица преили Мардус, в ее словах было нечто, с необъяснимой силой приковывавшее меня к ней; но эти загадочные черты или оттенки мое перо не в силах передать, из-за этого и все происшествие многим может показаться невероятным. Я больше не стану пытаться дословно приводить наш дальнейший разговор, я и начало его передал только для того, чтобы показать, как легко и просто могут найти друг друга родственные души, даже тогда, когда вызванные естественными причинами погрешности против культуры поведения должны, казалось бы, нагромоздить на пути все мыслимые препятствия.

Мы становились все ближе друг другу, я даже не знаю почему. Мне было хорошо, приятно, я понял, что сегодня не я один безвинно страдаю от гнета тяжелой, удушливой атмосферы, что вместе со мной страдает хоть одна нежная, отзывчивая душа. Мы сели на диван в углу опустевшего зала и стали изливать друг другу наболевшую душу. Каждое слово превращалось в какой-то космический магнит или нить, которая нас все больше сближала, роднила, связывала. Вскоре я почувствовал, что мне трудно себе представить не только сегодняшний вечер, но и всю жизнь без преили Мардус, держащей на коленях свою драгоценную скрипку, точно талисман, который невозможное делает возможным и опьяняет верой в слияние душ.



Я, естественно, помню свои тогдашние слова и мысли страшно смутно, так что невольно мчится — у меня и не было мыслей, одни сны, я был точно в сладком хмелю. Но не забыть мне выражение лица прейли Мардус, страстную печаль ее синих глаз, глядевших из-под черных ресниц и бровей. Ее бледные губы складывались лишь в грустную или ироническую улыбку, обнажая блестящую белизну зубов. Когда я долго, не отрываясь думаю обо всем происшедшем, мне кажется, что только эти белые зубы я и помню такими, какими они были в действительности, и по моему телу пробегает теплая волна, до самого крестца и дальше.

Благословенна женщина, от зубов которой изливается такая божественная волна!

— Почему вы не вышли замуж? — спросил я, когда мы уже беседовали как добрые, верные друзья.

— А что, я уже начинаю стареть? — ответила она вопросом, грустно улыбаясь.

— Боже сохрани, совсем нет! — ответил я, совершенно не представляя себе, сколько может быть лет моей собеседнице.

— Это моя судьба, — промолвила она. — На таких, как я, жениться не хотят, я слишком прямодушна, слишком честна, а женитьба нужна лицемерам и хитрецам.

— Вам бы следовало оставить отравленную атмосферу столицы и найти более естественную и здоровую среду, — посоветовал я.

— Это мне и раньше говорили, но...

— Но что?

— Это было бы бесполезно.

— Почему?

Она сделала неопределенный жест, словно борясь против какой-то невидимой силы, потом сказала:

— Люди не знают, что говорят, вы тоже не знаете.

— Но, может быть, мне будет позволено узнать, — попросил я.

— Это так странно, — заговорила она. — Я никому об этом не рассказывала, даже моему дяде Раватяну, а сейчас у меня такое чувство, как будто я должна излить вам душу.

